

Итак, хвала тебе, Чума?

ЗИНАИДА СОКУЛЕР

Профессор, кафедра онтологии и теории познания,
философский факультет, Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова (МГУ). Адрес: 119991, Москва,
Ломоносовский пр-т, 27, корп. 4. E-mail: zasokuler@mail.ru.

Ключевые слова: чума; смерть; самопреодоление;
очищение; теодицея.

Среди различных установок человека по отношению к пандемии, помимо страха, отчаяния и проклятий, встречается и такая — воздать ему хвалу или возложить на него некие надежды. В 2020 году подобные голоса нередко звучали в потоке всевозможных интерпретаций и комментариев по поводу пандемии COVID-19 — в качестве прогнозов грядущих социальных, политических или экономических изменений, которые может или должна спровоцировать пандемия, или же призывов подняться над обычными человеческими чувствами и узреть в чуме пусть горькое, жестокое, но своевременное лекарство от человеческих пороков или социального неурядка. Возможно ли, чтобы некая условная «чума» переживалась как избавление? А может, как справедливое наказание?

Чтобы оценить подобные интерпретации на примере эпидемий прошлого, в статье рассматриваются художественные образы чумы, созданные Александром Пушкиным в пьесе «Пир во время чумы», Антоненом Арто в эссе «Театр и чума», а также Альбером Камю в романе «Чума». В этих произведениях по-разному представлена установка, согласно которой чуме есть за что воздать хвалу, ибо она может оказаться средством самопреодоления и очищения как для индивида, так и для социума. Однако Пушкин и Камю по-своему, разными средствами показывают иллюзорность подобной установки. Массовая катастрофа может обнажить те ресурсы, которые уже были в душе человека, но она не поднимет ни индивида, ни общество на более высокий уровень.

В КАЧЕСТВЕ названия для этой статьи я выбрала строку из маленькой трагедии Пушкина «Пир во время чумы» (правда, в оригинале она заканчивалась восклицательным, а не вопросительным знаком). Эти слова напоминают нам о том, что среди различных установок человека по отношению к этому бедствию, помимо страха, отчаяния, проклятий, есть и возможность воздать ему хвалу или возложить на него некие надежды. Подняться над обычными человеческими чувствами и узреть в чуме пусть горькое, пусть жестокое, но своевременное лекарство от человеческих пороков или социального беспорядка. Мы сами в марте 2020 года могли услышать такие голоса в потоке всевозможных интерпретаций и комментариев по поводу эпидемии COVID-19.

1

О попытках занять эту особую, как бы сверхчеловеческую позицию и пойдет здесь речь. Размышления, которыми я хочу поделиться, начались с одного замечания писателя Дмитрия Быкова. В радиоэфире ему был задан вопрос, можно ли ожидать появления хорошей книги о нынешней пандемии. И Быков сказал, что достоинство подобной книги будет зависеть от того, насколько правдиво и глубоко в ней описана жизнь *до* пандемии.

Как я понимаю, он не имел в виду, что только на фоне нормальной, стабильной жизни можно показать шок от внезапного появления такой вот крошечной твари, которая сумела погубить сотни тысяч человек и отправить в нокаут мировую экономику. Думаю, что он имел в виду совсем другое: прежде всего надо понять, насколько нормальной и обустроенной была жизнь перед пандемией, и только тогда можно будет понять, чем эта пандемия стала в жизни людей. Если жизнь «до» вовсе не воспринималась как нормальная, правильная, что тогда будет значить для людей ее внезапное завершение? Не будет ли пандемия, вместе со страхом, переживаться как разрешение некоей безысходности?

Возможно ли, чтобы некая условная «чума» переживалась как избавление? Или, быть может, как справедливое наказание?

Или чтобы перспектива эпидемии породила чувства, подобные тем, что описывал тот же Быков в романе «Июнь», где речь шла не об эпидемии, а о предчувствии и ожидании войны: «...все-таки ее неизбежность многое списывала, и была своя сладость в том, чтобы жить в ожидании конца концов, отменяющего все нынешние счета»¹. В таком случае можно было бы позволить себе вопрос: а нет ли «своей сладости» в чуме, которая тоже «отменяет все нынешние счета»?

За ответом обратимся сначала к пушкинской трагедии «Пир во время чумы».

Эта одноактная пьеса была написана Пушкиным в Болдине, куда он удалился в 1830 году на время эпидемии холеры. В основе ее лежит перевод одной сцены из английской трагедии 1816 года «Чумной город», действие которой происходит в Лондоне во время чумы 1665 года. (Замечу в скобках, что именно эта эпидемия заставила Исаака Ньютона удалиться из Лондона в деревню, где во время вынужденного затворничества он начал разрабатывать дифференциальное и интегральное исчисление и открыл закон всемирного тяготения. Какими же продуктивными событиями для человеческой культуры видятся нам, с исторической дистанции, надежно заслоняющей нас от этих бедствий, и чума 1665 года, и холера 1830 года, способствовавшая пушкинской «болдинской осени»!)

Пушкинская трагедия предъявляет нам нестандартную реакцию на эпидемию чумы. Молодые люди за пиршественным столом посреди улицы, по которой во время их пира проезжает телега с трупами. Пир во время чумы — это их поиски себя, способа существования во время страшной эпидемии. Как им, молодым, кому бы еще жить и жить, существовать среди смерти, сознавая, что она вот-вот тебя настигнет? Они хотят опьянения, буйного веселья. Какие чувства топят они в своих бокалах? Какого состояния надеются достичь? Они пытаются *успеть* насладиться жизнью, продолжение которой под постоянной угрозой. Подобная жажда успеть, конечно, ослабляет узы традиционной морали. Но не является ли это неким благодеянием, которое не дано людям в стабильные благополучные времена?

Молодые люди за пиршественным столом пытаются убедить себя, что чума в их городе имеет свои «плюсы». Она несет прежде всего освобождение от традиционных условностей. Кроме того, отнимая перспективу будущего, ставя перед близостью смерти,

1. Быков Д. Л. Июнь. М.: АСТ (Редакция Елены Шубиной), 2017. С. 236.

она придает всем наслаждениям *остроту* и *интенсивность*, неведомые в спокойном гарантированном существовании. Не удивительно, что Председатель их пиршества поет им сочиненный накануне «Гимн Чуме»²:

<...>

Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.

<...>

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

Итак, — хвала тебе, Чума,
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы
И девы-розы пьем дыханье, —
Быть может... полное Чумы!³

2. Алексей Павлович Козырев напомнил мне в связи с этим про старое риторическое упражнение в составлении похвального слова очевидно неприятному предмету или негативному явлению. Подобное упражнение исходно подразумевало, что явление негативно. Однако пушкинская трагедия не позволяет отнести к данному «Гимну» как к легкому упражнению или проявлению иронии. Да и «Похвала глупости» Эразма Роттердамского содержит не только иронию, когда он начинает говорить о христианском благочестии как «глупости» с *ограниченной приземленной точки зрения*, тем самым указывая на другую, более высокую точку зрения.
3. Пушкин А. С. Пир во время чумы // Евгений Онегин. Драматические произведения. Романы. Повести (Библиотека всемирной литературы. Т. 104). М.: Художественная литература, 1977. С. 337.

Вдумаемся еще раз в строки:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслаждения —
Бессмертья, может быть, залог!

Как не увидеть здесь попытку возвыситься над обыденной, общепринятой перспективой и системой оценок и подняться к некоей *сверхчеловеческой*? Слова о залоге бессмертия выражают, как мне кажется, именно это. Важно отметить, что Пушкин помещает эту песнь прямо после эпизода с проездом телеги, груженной трупами, что придает описанной попытке возвыситься к сверхчеловеческой точке зрения особую серьезность, но также и осое отчаяние.

Надо сказать, что *воздать хвалу чуме* пытались разные люди в разных ситуациях и с разной степенью близости к ней. Хвалу за то, что она *обнажала хрупкость* человеческого существования, ненадежность быта, устоев, социальных институтов, которые все перед ее лицом оказываются *мнимой* защитой, *мнимыми* якорями стабильности. Тем самым чума ослабляла узы, обычно сковывающие реакции человека, позволяла *позволить себе* упоительную раскованность; позволяла подняться над уровнем обыденных поведенческих норм и ценностей.

Жар, вкладываемый в подобную хвалу, находится в прямой зависимости от неудовлетворенности сложившейся ситуацией и обыденной жизнью. Если последняя кажется фальшивой, ложной, порочной; если кажется, что фальшь, порок или пошлая обыденность затягивает как болото, вот тогда и может прозвучать *хвала чуме* как, может быть, единственному, что способно всколыхнуть это болото, развеять ложные устои и поставить человека лицом к лицу с *правдой его ничем и никем не защищенного смертного существа*.

По-своему воздает хвалу чуме Антонен Арто (1896–1948) в статье «Театр и чума»⁴ (1934). Он начинает с предания, согласно которому некогда король Сардинии оказался в непостижимом внутреннем контакте с чумой, вследствие чего не позволил пристать к городу подплывающему кораблю, потому что вещий сон предупредил его о приближающейся чуме. Король нарушает своим поведением все договоры, права и обычаи. А город Марсель,

4. Арто А. Театр и чума // Он же. Театр и его двойник. Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.: Симпозиум, 2000. С. 105–123.

куда дальше поплыл корабль, ведет себя в соответствии с правилами и обычаями. Потом оказалось, что корабль этот вез чуму в Марсель.

Арто страстно и красочно описывает, что происходит в зачумленном городе, перечисляя стадии разрушения социума и социальных норм. Обстоятельно и подробнейшим образом он излагает, что происходит с человеческим телом, разрушаемым чумой. Упоминает растущее помрачение рассудка, небывалую органическую бурю внутри организма, выходящую наружу чумными бубонами. Арто особо подчеркивает непредсказуемость того, кого болезнь уничтожит и кого пощадит. Описывая изменения, которые обнаруживают патологоанатомы в теле умерших от чумы, он предъясняет нам странную картину:

Только два органа действительно бывают поражены чумой, — мозг и легкие, и оба они находятся в прямой зависимости от сознания и воли. <...> Значит, чума, видимо, заявляет о своем присутствии в определенных местах, она отдает предпочтение тем областям человеческого тела, тем точкам его физической поверхности, где проявляют себя человеческая воля, сознание и мысль⁵.

В самом деле, человек не может сознательно повлиять на свое пищеварение, но может сознательно задерживать дыхание, думать или не думать о чем-то. Этими описаниями и рассуждениями Арто подводит читателей к своему убеждению, что эпидемии чумы невозможно объяснить исключительно природным фактором, предъяснив ее возбудителя, как это в конце концов сделала медицина, ибо сама чума есть нечто большее, нежели чисто органическое явление:

Из такого рода странностей, тайн, противоречий и характерных признаков следует построить для себя духовный облик зла, доводящего человеческий организм до разрывов и судорог, подобно тому как чувство боли, постепенно нарастая и углубляясь, умножает свои ходы и завоеванные области во всех сферах наших чувств. <...> Через все это проглядывает духовный лик зла, законы которого невозможно определить научно⁶.

Арто, таким образом, убежден, что чума являет нам глубинное зло, рассеянное повсюду и присущее, по-видимому, самому бы-

5. Арто А. Театр и чума. С. 111.

6. Там же. С. 115–116.

тию. Оно постоянно живет в человеке и социуме. Его токи закручиваются вокруг нас непрерывно. Но бывают такие моменты и такие места, где абсолютное зло накапливается и концентрируется до невыносимой степени. Общество (а может быть, это происходит с отдельной личностью) как бы пропитывается гноем, который должен найти выход. Понятно, что социальный катаклизм тут неизбежен. Он может принять форму революции, войны, однако сама метафора скапливающегося гноя ведет к тому, чтобы увидеть бубонную чуму именно как прорыв накопившегося в социуме гноя. Арто описывает эпидемию чумы как мрачный, но внутренне необходимый, свершающийся по собственным непреложным законам спектакль. Он являет нам картину полного разрушения общественного порядка, нравственности, человечности:

Последние оставшиеся в живых теряют голову от отчаяния: сын, прежде послушный и благородный, убивает своего отца; человек сдержанный обещивает своего ближнего; сластолюбивый делается непорочным. Скупой пригоршнями выбрасывает из окна свое золото. Воинственный герой поджигает город, который когда-то спасал, жертвуя своей жизнью. Франт наряжается и идет гулять на бойню. Мысль о бесконтрольности или близкой смерти сама по себе недостаточна, чтобы объяснить столь нелепые и немотивированные поступки людей⁷.

Этими словами Арто еще раз подводит нас к мысли о необходимости эпидемий чумы для социального организма. Организм этот всегда поражен злом, он никогда не бывает полностью здоровым, поэтому пусть лучше прорывается гной. Эпидемия чумы оказывается под пером Арто неким ритуальным жертвоприношением, без которого невозможно очищение.

Теперь становится понятна аналогия между чумой и театром. В обществе, к которому не пришла чума, театр должен выполнять подобную функцию — выпускать наружу хаос и силы зла. Разрабатываемый Арто «театр жестокости» призван осуществлять своего рода символическое кровопускание, которое должно предохранить нездоровое, постоянно несущее в себе семена зла общество от полномасштабных кровопусканий. Ибо, если силы зла и хаоса совсем не будут находить выхода в полностью цивилизованном и политкорректном обществе, это может привести к еще более ужасным катастрофам.

7. Арто А. Театр и чума. С. 114.

Так и получается, что можно воздать хвалу чуме: она сделает то, на что не способны люди в своем повседневном существовании, которое может быть мерзко и насквозь фальшиво. Но чума разрушит его до основания; все зло, мерзость и ложь вылезут наружу, все социальные нормы, устои будут отброшены в кровавом разгуле, и результатом станет гибель либо предельное очищение.

Учтем, что человек, который пишет это, далек от реальной эпидемии чумы. Полагаю, что подобная удаленность способствует восторженному отношению к тому, что, по его мнению, обещает гибель или полное очищение. Но такова ли альтернатива и насколько оправданно ожидание полного очищения, если уж гибель обошла стороной? Хотя такие вопросы напрашиваются сами собой, со своеобразной «хвалой чуме» можно столкнуться не только у экзальтированного интеллектуала. По-видимому, упование, что несущее гибель может нести и полное очищение, опирается на какие-то глубокие подсознательные образы.

За еще одним разворотом названной связки «гибельное — чреватое очищением» мы обратимся к роману Альбера Камю «Чума». Роман был написан в 1944 году, хотя издан только после войны. Не удивительно, что принято было говорить о нем как о метафорическом изображении ужасов фашизма. Наверное, в послевоенные годы роман естественно воспринимался в этом ключе, а потом такая интерпретация стала традицией. Однако в 2020 году, в эпоху пандемии, он читается иначе. Слишком уж сильными и плотными оказываются в нем именно медицинские подробности и ассоциации. А чума выступает как совершенно анонимное зло, вовсе не нуждающееся в человеческом содействии, так что она — не такая уж хорошая аллегория фашизма. Однако *противодействие* чуме как раз нуждается в человеческом содействии, и потому важное значение приобретают установки и интерпретации, которые выбирали для себя перед лицом этого бедствия персонажи романа.

Текст начинается с медленного и лишнего всякого пафоса описания жителей алжирского города Орана и их обычного существования перед приходом чумы. Становится понятно, что люди эти вполне обычные, то есть в массе своей мелкие, заурядные, и таково же их существование. Работа, стремление заработать, вечером карты или кафе — и это всё. Мелкое, пошлое существование, именно такое, которое всегда мечтают взорвать нетерпеливые идеалисты и радикалы. И вот это существование разрушено немыслимым, невероятным фактом, который так тяжело признать городским властям.

В какой-то момент и в чьих-то головах вопрос, отчего произошло это, превращается в вопрос «За что?». Эпидемия чумы становится для Камю удобной моделью, чтобы предельно остро и жестко поставить проблему теодицеи (фашистская оккупация, я думаю, заставляла бы ставить эту проблему иначе). В самом деле, если и волос не упадет с головы, не будь на то Божья воля, то и в эпидемии чумы, внезапно поразившей город, надо видеть Его волю. А если воля Божья направлена к высшему благу, вернее, сама и является высшим благом, не значит ли это, что чуме надлежит воздать хвалу? Это и делает ученый иезуит отец Панлю, которому было поручено написать проповедь для большого молебна об избавлении от бедствия. Основная идея проповеди, насыщенной яркими образами и произнесенной с подлинно театральными эффектами, состояла в том, что, если в город пришла чума, значит, жители заслужили ее. Это наказание за их грехи. Отец Панлю возглашает:

Ежели чума ныне коснулась вас, значит, пришло время задуматься. Праведным нечего бояться, но нечестивые справедливо трепещут от страха. В необозримой житнице вселенной неумолимый бич будет до той поры молотить зерно человеческое, пока не отделит его от плевел. И мы увидим больше плевел, чем зерна, больше званных, чем избранных, и не Бог возжелал этого зла. Долго, слишком долго мы мирились со злом, долго, слишком долго уповали на милосердие Божье. Достаточно было покаяться во грехах своих, и все становилось нам дозволенным. И каждый смело каялся в прегрешениях своих. Но настанет час — и спросится с него. А пока легче всего жить как живется, с помощью милосердия Божьего, мол, все уладится. Так вот, дальше так продолжаться не могло. Господь Бог, так долго склонявший над жителями города свой милосердный лик, отвратил ныне от него взгляд свой, обманутый в извечных своих чаяниях, устав от бесплодных ожиданий. И, лишившись света Господня, мы очутились, и надолго, во мраке чумы!⁸

Идея отца Панлю не нова и не слишком оригинальна. Многим из нас наверняка приходилось слышать подобные рассуждения и в связи с нынешней пандемией. Отрицать, что жители города грешны, конечно, невозможно. Жители Орана, как и большинства городов на белом свете, — обыкновенные, заурядные мещане, в большинстве своем стяжатели. Поэтому посыл проповеди выглядит естественным и понятным. Говоря о греховности жите-

8. Камю А. Чума. М.: АСТ, 2017. С. 120–121.

лей и о справедливости наказания Божия, отец Панлю вносит порядок и разумные основания в происходящие события: эпидемия имеет понятную причину — грехи людей, от которых они сами не собираются избавляться. Общая греховность социума дошла до такой степени, что дальше так продолжаться не могло. Потребовались чрезвычайные меры, и потому на погрязший в скверне город обрушился бич Божий:

Здесь преподобный отец, не жалея красок, нарисовал ужасную всех картину бича Божьего. По его словам, огромное деревянное копьё кружит над городом, бьет вслепую и вновь, окровавленное, вздымается вверх, разбрызгивая кровь и болезни людские, «и из такого посева взрастет урожай истины»⁹.

Оказывалось, таким образом, что чума страшна, но в конечном счете и благотворна, ибо «вы с того самого дня, как город замкнул в свое кольцо и вас¹⁰, и бич Божий, вы иным оком видите все живое и сущее. Вы знаете теперь, что пора подумать о главном»¹¹.

Таким образом, во вдохновенной проповеди отца Панлю звучит опять-таки хвала чуме, ибо это наказание, во-первых, заслуженное, во-вторых, благотворное, оно очистит от скверны общество, которое само не в состоянии сделать это, и «из такого посева взрастет урожай истины». Чума, этот страшный разящий бич, в то же время возносит человека и указывает ему путь.

2

После того как мы обратили слух к голосам, воздающим хвалу чуме, и посмотрели на их мотивы, мне хочется показать, как писатели находят художественные средства, чтобы показать фальшь подобной установки.

Вернемся сначала к пушкинской драме. В «Пире во время чумы» не затрагивается проблема теодицеи. Здесь речь идет о том, каким может быть осмысленное существование человека перед лицом невыносимо близкой смерти. Пропетый чуме хвалебный гимн позволяет нам почувствовать, что упоение гибельной угрозой, восторг ужаса и влечение к бездне знакомы и понятны Пушкину. Но действительно ли в них показывает себя высшее начало в человеке, за-

9. Камю А. Чума. С. 122.

10. Подразумевается кордон вокруг зачумленного города и запрещение покидать его.

11. Камю А. Указ. соч. С. 123.

лог его бессмертия? В драме Пушкина после того, как пропет гимн чуме, появляется старый священник, осуждающий пирующих и напоминающий Председателю о том, что совсем недавно он потерял мать и любимую жену. Перед лицом воспоминаний о них Председатель признается, что он удержан за пиршественным столом

Отчаяньем, воспоминаньем страшным,
Сознаньем беззаконья моего
И ужасом той мертвой пустоты,
Которую в моем дому встречаю¹².

Хмельная компания прогоняет старого священника, пир продолжается, но пушкинский текст завершается ремаркой: «Председатель остается погруженный в глубокую задумчивость». А мы можем размышлять над тем, что хвalebный гимн чуме произнес человек в состоянии депрессии, у которого страх смерти, быть может, отступил перед невыносимыми страданиями от потери самых близких и любимых; и можем прийти к мысли о том, что альтернатива «гибель или предельное очищение» не исчерпывает возможных исходов чумы.

Да, и гибельный восторг, и влечение к бездне могут дать мгновенный экстаз, но не дают душевных сил для глубоких и длительных испытаний. Не говоря уже о том, сколь дешевы оказываются удаля и панибратство с чумой. Так же и бравада освобождения от социальных условностей не решает экзистенциальных проблем, ибо социальные нормы — больше чем условности. Разрушая их, не спешит ли человек разрушить самого себя? Правда, вполне может быть так, что человек и хочет поскорее разрушить себя, потому что не имеет сил вынести выпавшие на его долю испытания.

Вернувшись к роману «Чума», мы увидим, что там в ответ на предложенный отцом Панлю вариант теодицеи — увидеть в чуме десницу Божию, направляющую человеческое стадо в нужном направлении, — Альбер Камю подвергает самого иезуита такому испытанию, которого он не выдерживает. И это к чести отца Панлю. Камю безжалостно показывает, что разговоры о справедливом и благотворном наказании Божиим хороши, когда вы на достаточном расстоянии от чумы. Но вблизи все начинает выглядеть по-иному.

События в романе разворачиваются следующим образом: врачам города, работающим с чумой, удается самим создать ка-

12. Пушкин А. С. Пир во время чумы. С. 339.

кую-то сыворотку (та, что прислали, после всяческих задержек, из Парижа, оказалась неэффективной). Теперь все надежды связывают с этой собственными силами изготовленной сывороткой. Ее решают испробовать на маленьком ребенке, который находится в очень тяжелом состоянии и не имеет шансов выжить самостоятельно. Кажется, что ему не может быть хуже. Но действие сыворотки приводит только к тому, что удлиняются на несколько часов агония и муки маленького ребенка, у постели которого собираются главные персонажи романа, в том числе и отец Панлю, который к этому времени тоже работает в добровольной санитарной дружине. Если врачи наблюдают за действием сыворотки и видят удлинение предсмертных мук, то отец Панлю опускается на колени и молит Бога о спасении ребенка.

После смерти мальчика в романе следует очень эмоциональный диалог между врачом Бернардом Рье и отцом Панлю. Врач ставит острый вопрос, отвергающий возможность искать разумный справедливый замысел за массовым, не разбирающим жертв бедствием: ребенок был слишком мал, чтобы быть грешником. За что его мучения и смерть? Вопрос почти карамазовский.

Ученый иезуит ищет ответа, но после смерти этого мальчика что-то в нем надломилось. Отец Панлю начинает работать над новой проповедью, которая должна исправить то, что в первой, как он теперь понял, было неправильно. Ныне, когда он увидел чуму с близкого расстояния и постоял рядом с тем «копьем», о котором говорил в первой проповеди, у него не поворачивается язык сказать, что «из такого посева взрастет урожай истины». Ответ, который он находит на этой стадии работы с чумой (надо подчеркнуть, что теперь у него есть опыт реальной, а не концептуальной работы с чумой), заключается в том, что

... не следует пытаться объяснять являемое чумой зрелище, а следует пытаться усвоить то, что можно усвоить. <...> ... трудно понять страдания дитяти. И впрямь, нет на свете ничего более значимого, чем страдание дитяти и ужас, который влекут за собой эти страдания, и причины этого страдания, кои необходимо обнаружить. Вообще-то Бог все облегчает нам, и с этой точки зрения наша вера не заслуживает похвалы — она естественна. А тут он, Бог, напротив, припирает нас к стене. Таким образом, мы находимся под стенами чумы и именно из ее зловещей сени обязаны извлечь для себя благо¹³.

13. Камю А. Чума. С. 277–278.

Мы видим: отец Панлю не отступает от главной своей установки, что в чуме должно быть вычитано некое поучение, а поучение не может не быть благом. Это уже кажется совершенно невыносимым. Но именно тут, в невыносимости обнаружения в чуме блага и смысла, отец Панлю пытается увидеть разгадку. Бог ставит людей перед испытанием их веры. Надо сохранить веру именно потому, что это становится невыносимым. Так что сам отец Панлю, как он заверяет в своей последней проповеди,

...останется у подножия стены, верный образу четвертования, символом коего является крест, и пребудет лицом к лицу с муками младенца. И безбоязненно скажет он тем, кто слушает его ныне: «Братия, пришел час. Или надо во все верить, или все отрицать... А кто среди вас осмелится отрицать все?»¹⁴

Безусловно, муки ребенка уничижительны для ума и сердца. Но именно поэтому необходимо через них пройти. Именно поэтому — и тут отец Панлю заверил свою аудиторию, что ему нелегко будет произнести эти слова, — поэтому нужно желать их, раз их возжелал Господь¹⁵.

Вот тот ответ, который произносит отец Панлю. Но успокаивает ли он его самого? В ответ на эту последнюю попытку теодицеи Камю показывает, что отец Панлю непоправимо надломлен. Естественно, он вскоре заболевает. А заболев, до последней минуты сопротивляется вызову врача. В самом деле, если человек провозгласил, что чума — бич Божий и что нужно желать ее, раз ее пожелал Господь, то такой человек — как видит проблему теодицеи Камю — *не имеет морального права* обращаться к врачу, когда заболевает сам. Он должен или принять чуму и *собственную* смерть (а не только смерть каких-то статистических сограждан) как волю Божью, или признать себя лжецом. Отец Панлю в романе Камю остался верен себе — и Богу? — до конца. Он умер *молча, не выпущая из рук распятие*, причем, как повествует автор, болезнь его была не совсем похожа на чуму, и после его смерти была сделана запись «случай сомнительный». Из чего мы можем заключить, что отца Панлю убила не сама чума; он надорвался, пытаясь принять ее и пославшего ее Бога. Надлом, а не самопреодоление и очищение стал уделом отца Панлю.

В романе Камю мне представляется очень важным еще один момент. Когда закончилась эпидемия и с города был снят ка-

14. Камю А. Чума. С. 278.

15. Там же. С. 280.

рантин, город и его граждане *не* преобразились. После салюта и празднования все с радостью вернулись к прежнему существованию. Это относилось и к главным героям романа, которые встали на борьбу с чумой, рискуя собственными жизнями, — доктор Рё и его помощники, работавшие в добровольных санитарных дружинах. Один из них умер, так и не найдя решения своих жизненных проблем (Жан Тарру), другой вернулся ровно к прежним проблемам и обстоятельствам (муниципальный служащий и несостоявшийся писатель Гран). Или им стало еще хуже, как доктору Рё, у которого за время, когда он боролся с чумой, умерла в туберкулезном санатории жена, или Коттару, которому карантин во время чумы служил защитой от преследования полиции, но полиция пришла за ним, едва карантин был снят. Мне кажется, таким завершением своего романа Камю показывает, что не стоит обольщаться: пришедшие извне испытания не являются транспортером, который поднимет души тех, на кого они обрушились, на более высокий уровень. Массовая катастрофа может *обнажить те ресурсы, которые уже были в душе человека, но она не поднимет ни индивида, ни общество на более высокий уровень*. Поэтому не стоит воздавать хвалу ни чуме, ни иному бедствию. Спасения, преображения, самопреодоления человек — как и общество — может ожидать только от собственных усилий.

Такую мысль я попыталась вместе с вами прочесть у написавших о чуме Пушкина и Камю. Но еще раньше мне подсказали ее эссе Эммануэля Левинаса о внутреннем опыте узника нацистского концлагеря (каковым он был с 1940 по 1945 год, когда заключенных его концлагеря освободили американские войска). Так, в эссе «Плен» Левинас описал этот опыт неожиданными словами: военнопленные переставали быть буржуа. Он даже употребляет слово «романтизм», говоря о том, можно ли найти романтику в жребии заключенных. Буржуа — это человек, полностью завязанный на окружающие его обстоятельства и текущий момент. Он целиком определяется ими и от них зависит. Опыт плена показал людям, как мало вещей и условий достаточно для человеческого существования. Но мало этого освобождения от собственности. Левинас утверждает, что заключенный концлагеря подобен верующему, потому что он живет не окружающими его вещами и обстоятельствами; нет, он чувствует себя участником мировой драмы, от развязки которой непосредственно зависит его судьба; он живет сражениями мировой войны и ждет их исхода. Там, на арене мировых событий, решается его судьба.

Когда читаешь подобные рассуждения, может закрасться дьявольская мысль: не следует ли воздать хвалу нацистскому концлагерю за такой уникальный и возвышающий душу опыт? Но окончание другого эссе Левинаса на ту же тему — «Еврейский опыт заключенного» — отрезвляет и «ставит мысли на место». Вообще это эссе посвящено тому, как евреи — заключенные концлагеря, в котором находился сам Левинас (необходимо пояснить, что то был лагерь для военнопленных, а не лагерь массового уничтожения), — открывались религиозному опыту. Не означает ли это, что есть за что воздать хвалу тому, что поставило людей на самый край гибели? Нет, эссе Левинаса завершается размышлениями над тем, что будет далее с этим опытом. Он пишет, что драгоценные мгновения, когда люди пережили тот исключительный религиозный опыт, ничто не сможет стереть. Но тем не менее он трезво говорит о том, что позднее неизбежно придут новые разочарования. Люди станут свидетелями нового возрождения зла и поражения человека. Эссе заканчивается словами: «И цикл завершается»¹⁶. Слово «цикл» явно указывает на будущие повторения и заставляет еще раз задуматься над тем, что, в какие бы ужасные испытания не были ввергнуты люди, испытания сами по себе, автоматически не поднимают социум на более высокий духовный уровень.

Уровень возможного духовного подъема определяется потенциальными, содержащимися в душе человека, а не жестокостью испытаний и страданий, которым он был подвергнут. «Чума» не продуктивна, она не создает нравственные или интеллектуальные потенциалы, не порождает в социуме новые силы и не обеспечивает сама собой «предельное очищение»; она может лишь выявить, сделать заметным то, что строилось в социуме и в душах людей иными, неразрушительными и неабсурдными силами.

Библиография

- Арто А. Театр и чума // Он же. Театр и его двойник. Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.: Симпозиум, 2000. С. 105–123.
- Быков Д. Л. Июнь. М.: АСТ (Редакция Елены Шубиной), 2017.
- Камю А. Чума. М.: АСТ, 2017.
- Пушкин А. С. Пир во время чумы // Евгений Онегин. Драматические произведения. Романы. Повести. М.: Художественная литература, 1977.
- Levinas E. Carnets de captivité et autres inédits // Œuvres. P.: Bernard Grasset; IMEC, 2009. Vol. 1.

16. Levinas E. Carnets de captivité et autres inédits // Œuvres. P.: Bernard Grasset; IMEC, 2009. Vol. 1. P. 215.

PRAISE BE TO THE PLAGUE?

ZINAIDA SOKULER. Professor, Departement of Ontology and the Theory of Knowledge, Faculty of Philosophy, zasokuler@mail.ru.
Lomonosov Moscow State University (MSU), 27 Lomonosovsky Ave., Bldg 4, 119991 Moscow, Russia.

Keywords: plague; death; self-overcoming; purification; theodicy.

Among the various human attitudes toward a pandemic, along with fear, despair and anger, there is also an urge to praise the catastrophe or imbue it with some sort of hope. In 2020 such hopes were voiced in the stream of all the other COVID-19 reactions and interpretations in the form of predictions of imminent social, political or economic changes that may or must be brought on by the pandemic, or as calls to “rise above” the common human sentiment and see the pandemic as some sort of cruel-but-necessary bitter pill to cure human depravity or social disorganization. Is it really possible for a plague of any kind to be considered a relief? Or perhaps a just punishment?

In order to assess the validity of such interpretations, this paper considers the artistic reactions to the pandemics of the past, specifically the images of the plague from Alexander Pushkin’s play *Feast During the Plague*, Antonin Artaud’s essay “The Theatre and the Plague” and Albert Camus’s novel *The Plague*. These works in different ways explore an attitude in which a plague can be praised in some respect. The plague can be a means of self-overcoming and purification for both an individual and for society. At the same time, Pushkin and Camus, each in his own way and by different means, show the illusory nature of that attitude. A mass catastrophe can reveal the resources already present in humankind, but it does not help either the individual or the society to progress.

DOI: 10.22394/0869-5377-2021-2-179-193

References

- Artaud A. *Teatr i chuma* [Le Théâtre et la peste]. *Teatr i ego dvoinik. Manifesty. Dramaturgiia. Lektsii. Filosofiiia teatra* [Theatre and Its Double. Manifestos. Dramatic Works. Lectures. Philosophy of Theatre], Saint Petersburg, Simpozium, 2000, pp. 105–123.
- Bykov D. L. *Iiun'* [June], Moscow, AST (Redaktsiia Eleny Shubinoi), 2017.
- Camus A. *Chuma* [La Peste], Moscow, AST, 2017.
- Levinas E. *Carnets de captivité et autres inédits. Œuvres*, Paris, Bernard Grasset, IMEC, 2009, vol. 1.
- Pushkin A. S. *Pir vo vremia chumy* [A Feast in Time of Plague]. *Evgenii Onegin. Dramaticheskie proizvedeniia. Romany. Povesti* [Eugene Onegin. Dramatic Works. Novels. Novellas], Moscow, Art Literature, 1977.